

История эта измучила
Ярилина: вымысел
сопротивлялся лжи,
красивой получалась
только правда,
которая убивала. Страница 94

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

Для кого восходит Солнце?

Роман

Анатолий Николаевич Андреев

Для кого восходит солнце

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3459555

Минск; 2002

Аннотация

Второй роман А. Андреева, который в определенном смысле продолжает первый, «Легкий мужской роман». В центре внимания – пересечение трех типов сознания: художественного, религиозного и философско-атеистического. Отсюда – три главных героя: писатель, философ и священник.

Сюжетная линия – составление трех любовных треугольников. Однако содержание романа не исчерпывается сюжетом. Любовь, смерть, творчество, тема Афгана, образ Минска и т.д. – все это уместилось в короткий роман. Главное достоинство произведения связано со стилем. При всей своей откровенной развернутости в сторону интеллектуалов, «высоколобых» читателей, роман одновременно как бы прост (в этом отношении он продолжает линию «Легкого мужского романа»).

В произведении много эротики, парадоксального сопряжения ситуаций, придающих самым серьезным вещам игровой оттенок.

Содержание

1	4
2	14
3	25
4	28
5	42
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Анатолий Андреев

Для кого восходит Солнце?

Роман

Моей жене Елене Андреевой

Согласно сообщениям прессы, Рождество президент Соединенных Штатов Дж. Буш младший проведет на своем ранчо в Техасе в кругу семьи.

Меню рождественского ужина составят блюда мексиканской кухни.

1

Безжизненный свет Луны преобразил находящуюся в пределах его досягаемости территорию празднично-черного неба в аквамариновый оазис. Волшебный Занавес Вселенной был унижен далекими звездами, убедительно обозначавшими безмерность темного бархата пространства.

Становилось ясно до очевидности, что напыщенные декорации небес были задуманы как неотразимый аргумент для подавления воли и сознания несчастного человека, бредущего по пыльным апрельским тротуарам, извилистыми лекала-

ми опоясывавшими окраины чудовищного мегаполиса, подавлявшего одинокого человека своим культурным величием уже со стороны Земли. Дела рук человеческих (Город!) были заодно с небесами в противоречивом единстве. Человек еще не успел прийти в себя после зрелища Раскаленно-Оранжевого Шара, самоуверенно и весело уплывшего за бочок планеты Земля, как над его головой с востока бесшумно взошла нище-бледная и надменная Луна. Почему-то казалось, что она тоже едва заметно ухмыляется над согбенным человеком.

Постепенно сумерки сгустились, и образовалась темная, густая сфера, веками питающая мистикой астрологический маразм, – из ничего, из плотной пустоты. Все создается из ничего по законам или психологии, или материи. Если все так враждебно человеку, зачем было его создавать? А если он создан, нечего удивляться тому, что зачем-то сотворенный человек начинает защищаться, сражаться за жизненное пространство, превращая его в оазис. Оазис человека – не мегаполис, а Вера, Надежда, Любовь. С ними Вселенная превращается в тепленькое местечко, человек – в верноподданного Господина Вселенной, а Господь Бог – в виртуального Господина, посаженного на трон реальным человеком.

Все бы ничего, да вот вам напасть: Умные Мысли, убивающие веру и надежду и превращающие резиденцию Бога Отца в необитаемую ледяную пустыню.

Остается Любовь.

Вот почему Солнце и Луна вчера вечером ехидно кружились над человеком (что и было описано в начале романа, тоже детища культуры), пугая его высокомерным ликом вечности. Они почувствовали, что из человека уходит любовь, сочтется жизнь из раны, нанесенной Татьяной.

Но человек пережил ночь и заставил плодово-сочную, похожую на тривиальный тропический апельсин, морду вечернего светила взойти с Востока, обогнув планету. Сегодня человеку было наплевать, что Земля вращается вокруг Солнца. По законам психологии человек был прав.

Солнце сделало вид, что оно всходило вовсе не ради человека, пряча свою виноватую, вылинявшую за ночь размыто-желтую физиономию за кисеей грязно-мутных облаков. Человек хотел посмотреть в ехидные глаза этой наглой пылающей звезде, дающей жизнь всему и на этом скользком основании решившей, что человек должен стать ее рабом.

– Так-то лучше, – сказал человек, неподвижным взглядом укротивший солнце и поймавший его лукавый взор в про свете рваных облаков. Звали его Валентин Сократович Ярилин. Жил он в микрорайоне Малиновка. Холост. Не обременен детьми. – Так намного лучше. А вечером меня не будет на прогулке, можешь не ухмыляться. Я буду у нее. Я люблю ее. Тебе все ясно?

В воспитательных целях Ярилин выдержал паузу.

– Кстати: остальным на тебя наплевать. У них есть Вера и Надежда. Они убеждены, что тебя создал Бог. Да будет свет

– слышало что-нибудь про это? Ты всего лишь светильник. Вот и выполняй свои прямые функции: свети. И никаких гвоздей.

Пауза.

– И летом чтоб было 30 градусов. В тени. Строго по Цельсию. Вопросы есть?

Валентин Сократович сменил гнев на милость, и Солнце, завивая хвостом, ликующе выкатило из-за облаков. Оно вело себя, словно щенок, и сладить с ним не составляло никакого труда.

– Неразумная природа, – процедил сквозь зубы Ярилин, приготавливаясь к утренней зарядке, помогающей поддерживать дряхлеющее (в соответствии с законами природы) тело в приличной форме.

Мегаполис превратился в хлопотливый город Минск, не обращающий никакого внимания ни на небо, ни на солнце. Люди, озабоченные куском хлеба, даже под ноги себе не смотрели, наступая на замшевую и лакированную кожу, облежавшую нижние конечности своих ближних модными моделями туфель весенне-летнего сезона.

Валентин Сократович также устремился на работу, на культурный фронт, где можно было добыть кусок хлеба и продлить биологическое существование. Культура, как и положено у людей, всецело зависела от природы и была у нее на посылках. Это не нравилось Ярилину, и он написал роман во славу мысли и культуры. Он не собирался ставить природу

на колени; он хотел поднять с колен культуру. В частности, Валентин Сократович написал: «У женщины есть одна извилина, да и та предназначена для производства на свет детей, а не мыслей».

Вот так и написал в порыве беспристрастного отношения к прекрасной половине человечества, желая прикоснуться к свету истины и вовсе не желая кого-то обидеть. Татьяну Жевагину он как-то при этом не то чтобы не включал в прекрасную половину, а просто ее любил. Любил ее локоны, маленькую грудь, отсутствие извилин и наличие той единственной, за которую охотно прощал ей то, что она не мужчина. И, между прочим, получал от нее импульс для творчества. Строго по Фрейдю.

Кому-то трудно будет это понять, но Валентин Сократович естественно совмещал и любовь, и творчество; при этом легкомысленно афишировал это. Неизвестно, что погубило писателя: любовь к истине или неумение это скрывать. Так или иначе, фраза, слетевшая с его честного пера и продиктованная ему, судя по всему, многочисленными извилинами (лоб его, словно полотно, на которое проецируется серое вещество, бороздили умные морщины), стала достоянием общественности и, что гораздо неприятнее, фразу эту нравственно озабоченная общественность (Магнолиев, подлец, скорее всего, удружил) срочненько довела до удивительно красивых ушей Татьяны.

Дело, конечно, житейское. Обычный конфликт натуры и

культуры. Объяснения, разумеется, было не избежать.

– Не отпирайся, Ярилин. Ты ведь написал. Я тебе никогда этого не прощу.

Красивые глаза Татьяны сузились и потемнели во гневе.

– Какого цвета у меня глаза? Ну?

– Светло-коричневого, – быстро ответил писатель, стараясь угодить.

– Нет, Ярилин, ты ошибаешься. Ты невнимателен. Ты плохо знаешь женщин. Смотри лучше, взглядишь, сердцеед несчастный.

– Словно зеленью отдают... Они меняют цвет, как бы...

– Как бы... Уже лучше. Видишь, как все неоднозначно.

Как ты мог написать такую чушь, такую подлую ересь, Валентин? Как ты мог?

– Танюша, я тебе все объясню...

– Не надо ничего объяснять. Я тебе никогда этого не прощу.

– Таня...

– Никогда, понял? Ты знаешь, что такое никогда, приятель?

Потом он, втайне изумляясь неменяемости женщин, слетал за шампанским, и они сидели на кухне при свечах. «Шампанское я выпью завтра», – объявила мисс недоступность и бескомпромиссность. Они наслаждались культурным диалогом, который Ярилин грамотно начал с объяснения в любви.

– За что ты меня любишь? За это?

Она медленно, поводя бедрами, выскользнула из юбки, обнажив тот восхитительный жизненно важный узел, в недрах которого была сокрыта проклятая извилина.

– За это? Ну-ка, напряги свои извилины.

– Мои извилины здесь ни при чем.

– Знаешь, когда я хочу тебя до безумия, мой господин? Когда ты рассуждаешь о жизни. Я испытываю оргазм, впитывая твои мысли. Даже когда ты меня гладишь, я не испытываю ничего подобного. И вдруг ты объявил женщин неполноценными... Ты представляешь, что ты наделал?

Ее зрачки хищно блеснули люминесцентной поволокой, а потом засветились синей сталью.

– Я хотел сказать...

– Нет, ты вдумайся: я открываю книгу, неглупую книгу, а там черным по белому написано...

– Таня, Таня, забудем.

Ярилин, теряя голову, стал поглаживать тело, медленно добираясь до груди, которая просто сводила его с ума. Она резким движением, не скрывая брезгливости, высвободила сосок из его чутких губ, отодвинула его от себя и сказала:

– Все это могло быть твоим. Навсегда. Вот от чего ты отказался, умник.

В одних черных плотно обтягивающих женские рельефы трусиках перед ним стояла его женщина, которую он всегда хотел. Тело ее было выточено словно из прохладной упру-

го-пористой резины, из которой был отлит бегемотик, подаренный Татьяной и стоявший унылым свидетелем на письменном столе. Тело стало неживым. Еще вчера она была соткана из нервных окончаний и таяла от любого прикосновения, а сегодня – чешуя кольчужная.

– Покайся, Ярилин, – требовала Жевагина, все время неуловимо охмуря его плавными телодвижениями.

– Каюсь: я думал, ты умнее.

– Сам дурак. Ты не знаешь женщин. Ты не знаешь жизни. Следовательно, ты не писатель. Я тебе это докажу.

И доказала (что доказала?), не откладывая в долгий ящик, способом столь же гнусным и вероломным, сколь и совершенным в своей гнусности. Истинная женщина никогда не забывает об эстетической стороне дела. Даже если ее ведут на казнь, она должна выглядеть так, словно ей предстоит свидание с любимым, а топор должен блестеть. Если топор будет ржавым, у нее может испортиться настроение. А уж если она играет роль топора в руках судьбы – нет предела изяществу и фантазии.

Татьяна всегда отличалась отменным, врожденным, что ли, вкусом.

– Этот твой коллега по цеху, поэт Магнолиев... Бр-р-р... Один оранжевый галстук чего стоит, – говаривала она, посмеиваясь над тем, как безрезультатно и бесплодно увивался он за ней, очевидно, из соображений чистого искусства. Ухаживание ради ухаживания – вот его безобидное, хотя и

слегка назойливое амплуа при ней. – Просто персидский ковер, а не галстук.

Эта вульгарно броская деталь туалета, безотказно действовавшая на иных, менее тонких поклонниц его скромного таланта, буквально стоила ему романа с женщиной, его вдохновлявшей и восхищавшей.

На следующий же день после размолвки Ярилин вернулся уже не в свой дом, где смиренно ждала его бледная сквоу очага, а в оскверненную обитель. Постель, их постель, белье для которой выбирала, конечно же, Татьяна, была язвительно распахнута и смята. У изголовья, словно подкинутые улики, небрежно валялись ажурные колготки, пахнущие ее духами, и разорванная упаковка использованного презерватива. Позорным пятном на одеяле жег глаза свернувшийся гюрзой, нет, коброй оранжевый галстук. Судя по почерку, нет, по стилистике, мероприятие по наставлению извивистов-ветвистых рогов на умную голову писателя было грамотно и умело срежиссировано и не могло банально кончиться колготками и галстуком.

И точно: на кухне продуманно небрежно застывшим аккордом раскинулся натюрморт: гусиный паштет, свежий букет в его, Ярилина, хрустальной вазе (подаренной Танюшей для того, чтобы не забывал баловать цветами), два близко поставленных, почти сомкнутых фужера, один из которых был тронут ее помадой, и пустая бутылка из-под того самого шампанского.

– Узнаю тебя, жизнь! – воскликнул оскорбленный писатель.

Он с брезгливым любопытством взял салфетку и поднял бокал на свет, словно высматривал отпечатки пальцев. Солнце, проникшее в кухню, празднично брызнуло лучиками от хрустального стекла на стену, где висела студийная фотография Татьяны. Ярилин осторожно поставил бокал на стол, любясь многоцветьем крохотных полевых цветков, собранных в пучок в фольклорном духе. Букет, конечно, купила она сама. У Магнолиева фантазия далее миллиона алых роз не распространялась. (Валентин Сократович весьма кстати вспомнил, что Магнолиев – это псевдоним, скрывающий малопоэтическую, но честную фамилию Кусливый. Борис Кусливый звали этого сладкоголосого шакала, чем-то напоминающего павлина.)

Теперь вам понятно, читатель, почему рыжая морда Солнца так похабно ухмылялась в лицо надломленному Ярилину, написавшему роман?

Тут мы ненадолго оставим нашего героя наедине с собственными мыслями. Ему было над чем подумать.

2

– Не будем смешивать божий дар с яичницей, – хриловато басил Астрогов.

– Не будем, – легко соглашался с ним Ярилин, осаживая свой баритон до максимально низких регистров.

Он сидел вечером не «у нее», как было обещано Солнцу, а у своего давнего друга Спартака Евдокимовича Астрогова, «одинокого, как последний глаз у идущего к слепым человека» (наглый Спартак присваивал себе все лучшее, созданное человеческой культурой; он часто цитировал эти строчки, но Валентин Сократович ни разу при этом не слышал ссылки на Маяковского).

– Но ведь рога-то – вот оне, не забалуешь. Пышной кроной, – аргументировал писатель самому себе еще не ясную позицию.

– Рога – это рога, а любовь – это любовь, – загадочно изронил Спартак, пуская из ноздрей дешевый, а потому особенно ядовитый табачный смрад.

– Ну и? – сокращая паузу, выдавил из себя Валентин Сократович, подталкивая Астрогина к какому-нибудь вразумительному резюме.

– Самое любопытное в этой ситуации – твоя реакция. Ты слеп, словно Гомер. Чего ты, собственно, ожидал, северный олень? Женщины всегда будут с поэтами, но не с истиной,

ибо витии сии (тут Спартак крикливо икнул) рождены, чтобы красно врать женщинам в глаза; мы же, философы, режем в глаза правду-матку. Есть разница. Псевдониму рожу не мешало бы начистить – но для этого, опять же, надо сначала уподобиться женщине. Надо перестать думать и начать бессмысленно и пылко ревновать. Вот тебе очередной экзистенциальный выбор, – лениво нагромождал гипотезы нетрезвый поклонник истины, изрыгая дым теперь уж изо рта. Дым клубился, сопровождая тяжелые фразы и подчеркивая их неоспоримость.

– Тебя послушать, так ничего не случилось, – не сдавался обиженный судьбой прозаик.

– Во-первых, не случилось ничего особенного; а во-вторых, не случилось ничего такого, что помешало бы тебе сбегать за бутылкой – всего за второй сегодня, заметь. Во всем знай меру, Сократыч. Умерь скорбь.

– Ты губишь себя, Спартачок.

– Гублю, пожалуй. Зато у меня нет рогов, и я не марал, а скорее, аморал. Гм, гм... Вот уже лет двадцать пять как нет, я имею в виду. Перестали расти, благодаря вовремя принятым мерам. Операция называлась развод. Кстати, о разводе... Не пора ли за водкой, камрад? Нах остен. Универсам «Восточный». За углом. У меня восток под боком, за углом, а север – с юга. И учти: если ты откажешься или не проявишь должного энтузиазма, придется идти мне. А это вредно для моего изношенного здоровья. Гип-гип?

Когда было уже изрядно выпито, женские достоинства, а тем более недостатки были виртуозно разобраны по косточкам, все вещи названы своими именами, когда полным ходом шло уже прикосновение к чистой, ничем не замутненной истине, Спартака потянуло на исповедь (на одну и ту же, впрочем, в течение десяти лет). Он вновь в деталях поведал о том, как родился у них с женой, златовласой Жанной, бывшей студенткой Астрогова, прелестный сынуля, которого они нарекли Эммануилом, в честь Канта, последним из людей умевшего как подобает восхищаться нравственным законом и звездным небом; как спустя полгода анализы подтвердили страшную догадку: малыш оказался дауном.

– И я, Сократыч, будучи, аки пес, атеистом, принял этот крест. И вот уже десять лет, Валя... Изо дня в день. Как крестоносец. И я не знаю людей лучше, чем мой Эмка. Он беззащитен, понимаешь, лишен агрессивности и честолюбия, этих двух гнусных источников всех наших доблестей. Вот не смейся: святой.

Дальше Ярилин не слушал. Он знал, что за этим последует описание разрыва с Жанной. Мамаша дауна хладнокровно вычеркнула злосчастливого младенца с заносчивым именем Эммануил из своей жизни, словно неудавшийся эксперимент, и ничего не желала о нем слышать. Малыша поместили в специнтернат. Рептильная реакция молодой супруги повергла Астрогова в уныние, и он запил вчёрную (еще и потому, что считал невоздержание свое причиной болезни

сына; он убивал себя тем, чем погубил сына: от этого становилось легче). Тогда Жанна вычеркнула из своей жизни и Спартака, которого за год до рождения сына буквально заставила на себе жениться. Она грозила утопиться, если Спартак посмотрит на другую и не будет принадлежать только ей. Еще какое-то время после развода они жили вместе, в одной квартире. Тогда же у Спартака появилась любовница, хохотушка Нинка, и обе возлюбленные, к удивлению философа, мирно поладили. В его память запала одна сцена, которую он никогда не пропускал в своих излияниях:

– Они обе лежат на диване, хохочут, а я танцую посреди комнаты вот на этом самом коврикe, что сейчас у меня под ногами. Поехал, навестил в сумасшедшем доме Эмку – и танцую. А они лежат и хохочут... – всхлипывал Спартак.

Жанна (Жан, как называл ее Астрогов) вскоре вышла замуж за инженера, ответственного работника главка. В этом браке, словно в укор Спартаку, Жан родила двух вполне здоровых детей. А Нинку сменили Верка, Надежда, Любовь, Галина... Они скрашивали одиночество Спартака, но привязан он был только к безмолвному детенышу с лишней, по меркам природы, хромосомой.

Валентин Сократович временами включался, наизусть зная события саги, но думал о своем. Его тоже вычеркнули из жизни. За что, собственно? За правду? Да будь она проклята, правда. Терять такую женщину из-за банальной мысли? Дурдом какой-то.

– И вот я вхожу на кухню и кричу: «Муха, ты где, муха?»»

Это Спартак перешел уже к рассказу о периоде отчаянного одиночества, когда он зимой, обалдевший от угрюмого молчания стен, прикармливал муху, неизвестно как очутившуюся у него на кухне. Уходя на работу в свой университет, он аккуратно выдавливал полновесную каплю молока на полированную поверхность стола.

– Слышу: жужжит. Ах ты, красавица, – пускал слюни матерый философ.

«И ведь так отомстить, с такой ненавистью, будто кровному врагу», – продолжал думать о своем Ярилин. Ему смутно припомнилась какая-то чувствительная история об одной даме, которая так ненавидела мужа при жизни, что после смерти его изменила с кем-то на могиле почившего супруга. Получила большое удовольствие. Просто это или сложно? Есть тут тайна или нет? «Во всяком случае, это ничуть не загадочнее, чем танцы ополоумевшего папаши перед бывшей женой, весело отправляющей своего вчера еще возлюбленного в объятия случайной любовницы. В жизни есть какая-то высшая простота, которая мне пока не дается. Спартаку дается, а мне нет. Чему-то он меня учит, а чему – не пойму...»

– Если бы не ты, Сократыч, пропал бы я ко всем чертям, – плавно перешел к следующему разделу неугомный аэд и акын.

– Да не пропадешь ты со своими железными мозгами, –

вяло реагировал Валентин Сократович бодрой репликой, ибо ему отводилась роль скромного, но верного и преданного друга. – Это я могу пропасть. А ты выживешь, Спартак.

– Выживешь... А ты думаешь, легко мне было?

Раньше Спартак никогда не жаловался, все больше ёрничал. А последнее время как-то стало разбирать Евдокимыча. Сколько ж ему? Пятидесяти еще нет. За сорок пять – будет, а пятидесяти нет. Интересный возраст. Пора бы все понять, а тут как раз неразбериха.

– Я достаю его из-за пазухи, ставлю на пол, а он дрожит, понимаешь, беззащитная такая тварь... Я его пихаю к блюдцу с молоком, а он на ножках качается и тоскует. Дуррак, говорю, Тимка...

Пошла предпоследняя серия: притча о явлении в квартире измученного философа лопаухого кобелька Тима (презент Верки), рожденного, хотя и незаконно, по недосмотру, простой сучкой от великолепного тибетского терьера. Умный песик уже давно ждал приближения этого момента, переживая звездный час своей жизни, и шустро выбрался из-под стола, уставившись невыносимо преданными глазами на хозяина. «Бастард!» – заскулил Спартак. Пошло взаимное лобызание, взволновавшее Тимоху почти до истерики. Он возбужденно лаял в пространство, желая защитить своего нетрезвого господина от напастей, карауливших человека изо всех метафизических щелей. Потом, символически исполнив свой долг, стал аккуратно (порода!) доглядывать ры-

бий остов из тарелки хозяина. Природа и кормила, и ела, и переживала, и думала...

В заключение Спартак вновь вернулся к Эмке, но на сей раз на полноценное жизнеописание сил уже не осталось, и фрагменты теснились, наплывая один на другой.

– Помнишь, как мы с тобой Эмку зимой выгуливали? – слабоумно всхлипывал доцент. – Мы его перебрасываем друг другу на руки, а он смеется... А помнишь, как мы его летом купали в озере?

– Помню, помню, Спартакус. Хватит об этом. Мне пора.

– А помнишь, как я его на велосипеде катал? Он же сам держался руками за седло. Смышленный пацан... Правда, падал.

Валентин Сократович знал, что сага вполне может пойти по второму кругу. Ничто так не трогало пьяного Спартака, как его собственная жизнь.

И Ярилин ушел в ночь.

Каково же было изумление слегка протрезвевшего философа, когда пред ним среди ночи оказалось видение: прекрасная незнакомка с бутылкой водки в руке. Запахло райскими кущами и олеандром. Собственно, к видениям как таковым Спартак относился достаточно трезво: время от времени какие-то черти полосатые изволили его посещать. Как правило, в период запоя или после приема разовой, но лихой дозы. На случай появления бесплотных пришельцев он припрятывал молоток в прихожей. Тим как-то легкомыслен-

но относился к материализации из воздуха незваных гостей, и тогда ему тоже перепало от хозяина за нерадивую службу: в принудительном порядке ему приходилось выслушивать лекцию о природе галлюцинаций. Кроме того, иногда в эти моменты Спартак применял и запрещенный прием, в чем потом раскаивался и искупал свою вину подношением в виде сахарной косточки. «Клим Чугункин!» – кляцал словами Спартак, и на Тима этот словесный залп действовал деморализующе. Он превращался в ползуче-извивающееся пресмыкающееся и по неизвестной причине чувствовал себя крайне виноватым. Он распластывался на линолеуме, вжимался в него, словно хладнокровный гад, и изо всех сил просил не называть его этими безобразными словами.

– Ладно, сукин сын, ныне прощен, – по-божески отменял свой позорный гнев хозяин.

Мир привидений определенно побаивался молотка. Почему – неизвестно. Спартак дошел до этого эмпирическим путем. Возможно, их отпугивала ловко насаженная на новую рукоятку массивного литья болванка, хищно сужавшаяся в заостренное зубило. Кто знает. Когда сознание более или менее возвращалось к бдительному Астрогову, Спартак Евдокимович обнаруживал следы схваток в самых необычных местах: то вмятина на потолке, то ручка двери вывернута, то коврик из прихожей оказывался перемещенным на кухню. Иногда интервенцию наглых визитеров выдавали досадные штрихи, как-то: трещина на зеркале, царапина на све-

жих обоях, а то и неизвестно откуда взявшийся синяк на коленной чашечке. Но поле боя неизменно оставалось за хозяином квартиры.

Спартак привык к победам, и потому решил не прибегать сразу к крайним мерам. Помня о верном молотке, превращавшемся в мощной длани Спартака в разящую палицу, Астрогов решил начать мирно. Все-таки перед ним была леди, а он даже с женщинами старался быть мужчиной. Тем более, что бутылка водки стояла уже на столе; более того, незамедлительно последовало живительное бульканье – то наполнялись стопки. Все еще не веря себе, Спартак туго сглотнул слюну и галантно спросил (он ни на секунду не забывал, кто здесь хозяин):

– Чем, собственно, могу быть полезен? Чему обязан посещением моей лачуги особой столь блистательной?

Язык Спартака вращался и плел смыслы сам собой. Неизвестно откуда брызнувший свет заставил Астрогова зажмуриться, а когда он нашел в себе силы открыть глаза, перед ним стояла прелестная Татьяна Жевагина. Он еще раз крепко зажмурил глаза и двинулся за молотком. У него был опыт выдворения не только неизвестных самозванцев, но и симпатичных, хотя и виртуальных теней из прошлого. Вот и Жанну уже неоднократно приходилось изгонять. Да мало ли кого еще? Однажды Святой Дух объявился. Дескать, духи мы, извольте любить и жаловать. Дело обычное, хмельное. Но смех Жевагиной трезвил Спартака все более и более.

– Таня, не может быть, – неуверенно сопротивлялся наваждению Астрогов. – Ты что же, к Вальке вернулась?

– Нет, конечно, – лучезарным оскалом резануло Спартака Евдокимовича. – Я пришла к тебе.

– Зачем? – честно недоумевал философ.

– Ты еще спроси, кто виноват, и что делать...

– Что делать, я, положим, догадываюсь. Пить будем. Это вполне диалектично. Возражений не вызывает. А зачем ты пришла? Я же не Валентин, надеюсь.

– Помнишь, как два года назад мы купались в море в чем мать родила?

– Голые?

– Обнаженные. Помнишь, что ты мне сказал при Валентине? «Если и стоит жить, то ради того, чтобы держать в руках такую женщину». Ах, как ты это сказал! Женщина такого не забывает.

– А вот я как-то не зафиксировал... Но я вполне мог такое сказать, вполне. Я даже припоминаю что-то такое. Но Танюша, ангел мой... Видишь ли... На все есть своя манера. Compliments возлюбленным друзей моих – это не самый большой грех в моей жизни, поверь.

– Грех, грех... Хочешь подержать меня в руках?

– Мм-м... То есть как это подержать?

Татьяна сначала расстегнула платье до живота, а потом медленно вытянула свою стопку водки, запрокинув голову. После этого она вышла из платья совершенно обнаженная и

изогнулась перед Спартакoм на расстоянии вытянутой руки.

– Ну, и дрянь же ты, Танька, – любовался ею Спартак.

– Так что же, ты не будешь меня, а? – мурлыкала Татьяна, пританцовывая и перебирая ногами, словно сдерживая нетерпение.

– Еще как буду, – обреченно вздохнул Спартак.

3

Ранним утром, прячась от слепящего солнца, Валентин Сократович звонил уже в квартиру друга.

Трезвон и лай Тима заставили Спартака продрать глаза и прислушаться к себе и миру в надежде обрести координаты: где он, с кем, он ли это, в конце концов, и если это так, то чего от него хотят?

Взвесив все pro и contra, он молча открыл дверь и впустил Валентина. Тот степенно вошел, развернул комично подпухшую физиономию хозяина к зеркалу, которое отразило исполосованную губной помадой пьяную харю. С Тимом вошедший в квартиру также обошелся прохладно и без церемоний. После этого молчаливого и странного, на взгляд полубетского полутерьера, ритуала у зеркала мужчины подались на кухню. Сели. Спартак глубокомысленно закурил, а Валентин Сократович поднялся и открыл форточку. Наконец, Спартак Евдокимович изрек нечто, претендующее на версию:

– Она тебе позвонила?

– Вежливо попросила, чтобы я забрал ее нижнее белье, которое она забыла у тебя. Зачем она его снимала, я догадываюсь сам. Я должен вернуть ей вещи из моей квартиры. В нагрузку простая дружеская услуга: доставить ее трусы из логова моего приятеля. Вот моя миссия-с. Пара пустяков. Что

ты на это скажешь?

Спартак беспомощно оглянулся вокруг и наткнулся взглядом на недопитую бутылку водки. В глазах его затеплилось что-то осмысленное. Нетвердо разлив по стаканам, он произнес безо всякого выражения:

– У человека только две проблемы: молодость и старость. Решишь одну – наживешь другую. А решишь вторую – и все, даже философия будет бессильна. Выпьем за то, чтобы у нас были крупные проблемы, а?

– Пожалуй. Тем более, что они у нас, кажется, есть.

Валентину достался стакан с губной помадой с краю. Спартак Евдокимович деликатно перехватил стакан и прикончил содержимое в два глотка. Валентин последовал его примеру и опорожнил стакан друга. Пауза и алкоголь размягчили души приятелей. Спартак начал искренне, хотя несколько витиевато:

– Не пожелай жены ближнего своего, и осла его, и козла его. Это сильно сказано, хотя и глупо. А если жена ближнего твоего желает тебя и достает член твой, ей по определению чуждый? Наши действия? Трахать или совсем наоборот, отнюдь не прикасаться? Как быть? Что делать, и кто виноват? А? Как бы это так бы, чтобы никак бы, а?

Валентин мрачно отстранился от решения этой библейской сложности задачки. Спартак продолжал, развивая инициативу:

– Есть какой-то гнусно-честный природный императив:

дают – бери. Если она дает, а ты не взял – это не значит, что вы оба остались чисты. Это значит: она шлюха, а ты дурак. Твоя понимать?

– Твоя, моя... Культур-мультиур... Иди ты в жопу, Спартак Евдокимович. Мне тошно от вас всех. Понимаешь?

– Понимаю... когда вынимаю... А мне еще и от себя тошно... Я виноват уж тем, что человек есмь, в известном смысле. Двинем ото всех скорбей, друг. Наполним бокалы, содвинем их разом. Вместе. А? Совместно...

– Пойду я. Противен ты мне, Спартак.

– Как знаешь, Валентин Сократович. Я почти сожалею.

Когда Ярилин вежливо захлопнул за собой дверь, Тим отчего-то заскулил, не показываясь на кухне.

4

Два дня Ярилин света божьего не видел, пытаюсь решить вопрос, который он сам себе навязал: как бы устроиться так, чтобы позволить себе роскошь презирать тех, кого презираешь, любить тех, кого любишь, и уважать при этом самого себя?

Первые два условия казались легко выполнимы – но тогда об уважении к себе не могло быть и речи. Если начинать с условия третьего – тогда не получалось искренне презирать и любить. «Может, роман какой напишется по мотивам жизни?» – тоскливо утешал он сам себя.

На третий день он решил навестить приятеля своего по имени Кирилл, по прозвищу Мефодий, а по фамилии Присных. Мефодий был сведущим богословом, знаменитым тем, что написал свою докторскую диссертацию по философии в Голландии на немецком языке. Валентин Сократович свободно и раскованно общался с Мефодием еще со времен диссидентства, когда они у костра под Самарой (тогда еще город назывался Куйбышев) выстанывали что-то бардовское с вольным душком: кони, волки, гривы, церкви. Тогда Кирилл еще не был Мефодием, и крестный путь его складывался, в основном, из похмелья и бабских разборок. Как-то так получилось, что его, смазливого, обладающего к тому же лирическим тенором, никак не могли поделить две-три пассии.

Кирилл одухотворено задирает очи и протестующе заводит про коней и их лохматые гривы, а женщины сначала трепетали, а потом сатанели, когда дело доходило до дележа внебрачного ложа. Время от времени из круга страстей выпадала одна, но на ее место тотчас находилась другая. И вот в таком неблагополучном гареме влачил дни свои Кирилл Присных. Советский строй оборачивался к талантливому тенору своим самым неприглядным ликом. Жизнь была запутанной и тяжелой.

Затем, как водится, внезапно и немотивированно, на него снизошло откровение (которое злые языки называли интуицией), и он по своим диссидентским каналам отправился постигать богословие. Чем он особенно гордился и что снискало ему неколебимую репутацию бескорыстного богоискателя – так этот тот неоспоримый факт, что его искания свершились до перестройки, то есть тогда, когда стремление к Богу риска приносило более, нежели выгоды. Никто не мог обвинить Мефодия в конъюнктуре, даже теперь, когда сутана резко возросла в цене и страна стала отрешиваться от атеизма, как черт от ладана. Кирилл воспринимал счастливые повороты судьбы как вознаграждение Господа Бога за диссидентские мытарства. Всевышний честно платил по счетам, а Мефодий недурно тянул богословскую ляжку в одном из престижных и, опять же, опально-диссидентских вузов, спонсируемых сердобольным Западом. Все складывалось удачно.

В перерывах между поездками то в Голландию, то в Гер-

манию, а то в какую-нибудь Португалию, отец Кирилл изнывал на поприще разных толкований Нового Завета. Он был крупным специалистом в области различий между православием и католицизмом. Сказывались опыт западника и укорененность в славянской почве.

Нравы местной богословской элиты были странны и неисповедимы, как пути Господни. Набираться зеленым змием до белых чертей было хорошим тоном, и даже где-то делом чести, этакой доблестной православной чертой, но вот пристрастие к полу женскому считалось отчего-то открытой бесовщиной и вызовом канонам православия.

Мефодий считался принявшим монашество, совмещая невоцерковленное бытие и светское подвижничество с образцовой строгостью нравов. Где-то в Великом Новгороде была у него жена с дочерью. Но случилось это еще до его пострижения, и ныне Мефодий монашески поводи́рствовал, имея репутацию крупного авторитета в делах церковных и человеческих.

Валентина Сократовича он бесцеремонно считал милым грешником, непосвященным в сакральное и эзотерическое, а потому слепым и недалеким, и главное – не могущим судить его, Мефодия, прегрешения, ибо в светской системе отсчета все не так, как надо. Ярилин в глубине души считал Мефодия гениальным лицемером, умеющим с выгодой обманывать даже самого себя, и любовался изнанкой святости. Им всегда было о чем дружески потолковать.

Массивную металлическую дверь, отделанную добротным дерматином приглушенных тонов, Мефодий открыл не спеша, предварительно изучив в глазок прищельца.

– Входи, входи, отче, хе-хе, – возрадовался святой угодник, – с чем пожаловал?

Они троекратно облобызались, Валентин Сократович облачился, повесив свой элегантный плащ на какое-то подобие рогов, и они прошли в гостевые покои, вечно прибранные и, очевидно, стилизованные под скромняжье житье-бытье ученого монаха. Иконы, книжный шкаф, огромный письменный стол. Разве что компьютер с принтером намекали, что обладатель сей кельи живет в начале XXI века и получает солидные гранты.

– Машенька, взойди, это свои, – барственно распорядился Мефодий в пространство, и откуда-то из укромных глубин квартиры бесшумно явилось колоритное существо с опущенными глазами, что только подчеркивало несмиренный облик леди. Ржица послушницы была смазлива до пошлости и до того блудлива, что казалось, будто клитор располагается у нее на физиономии. И при этом стыдливо опущенные долу очи. «Известный фокус, – подумал Ярилин. – Чем благостнее глаза, тем развратнее задница.» Это выглядело неестественно, словно мутно-голубые глаза сиамского кота на светло-коричневой в палевых разводах морде, а потому несколько пугало и одновременно возбуждало. Слишком много красоты всегда грозит обернуться уродством. Да-

же вежливый Валентин Сократович в недоумении посмотрел на избегающего соблазнов отца Кирилла.

– Это Машенька, студентка института культуры. Пусть пользуется пристанищем, поживет у меня безвозмездно. За квартирой присмотрит, опять же. Познакомься, душа моя. Валентин Сократович. Прошу любить и жаловать.

– Здравствуйте, – промолвила Машенька, подрагивая пухлыми крупными губами, то ли скрывая насмешку, то ли нагло вато ее демонстрируя. Девушка была явно без полутонна и, скорее всего, без комплексов. Вызывающих размеров грудь, подчеркнутая тугон спортивной блузкой, узкая талия, длинная и широкая юбка – от нее за версту несло сексуальной мощью и позывом самки. Рядом с ней двум мужчинам тут же становилось тесно (ее готовность принадлежать любому как-то сразу не вызвала сомнения), и Мефодий, явно нервничая, протрубил что-то насчет чая. Девушка, сверкнув нескромными и холодными глазами лисьего разреза, молча проследовала на кухню. Валентин Сократович же, все еще приходя в себя, задумчиво произнес, покачивая головой:

– Ну, ты, падре, даешь.

– Хе-хе, хе-хе, – тихо и самовлюбленно звенел поп. – Так-то бывает. Греха нет, греха нет – дело житейское. Надо шире смотреть на вещи, сын мой. Амбразура не должна заслонять кругозор.

– Ведь ты ж монах, однако, сукин ты сын!

– Монах, о котором говоришь ты, Валентин, понятие,

скорее, карьерное, нежели мировоззренческое, а тем более нравственное. Это статус, но не образ жизни. Монах – это прежде всего свобода. Не следует путать божий дар с яичницей.

– Хорошо, Кирилл Аркадьевич. Мир дому твоему. Над чем сейчас работаешь?

– Любопытную монографию плету. «Козни разума» называется. Разум и вера – вечную тему хочу поднять с Божьей помощью. Смешно, ей Богу, как вы носитесь, просвещенцы, со своим разумом...

– Допустим. А как же ты эту блядь с верой венчаешь?

– Не горячись, Валентин, не горячись. Как ты категоричен. Во-первых, она не то, что ты думаешь. Во-вторых, у нас с ней не то, что тебе показалось. Да, да, представь себе.

Пятидесятилетний мужик с опущенными плечами тихим голосом сказал правду. Валентин Сократович посмотрел на него и опять покачал головой:

– Безумные речи глаголешь, отец Кирилл. Влюбился что ли? Ну, тогда беда...

– Чай готов, извольте кушать, – грудным голосом пропела пери и живописно раскинулась на диване, подмяв под себя ноги. На ладони ее едва умещалась сочная половинка персика, в мякоть которой она впиалась зубами, а потом ласкала губами, выцеживая сок. При этом хищным глазомером простого столяра она окинула сухощавую фигуру Валентина и уставилась на него так, что было ясно: первая она глаз не от-

ведет. У Валентина Сократовича даже во рту пересохло.

– Прошу на кухню, Валентин, – заторопился Мефодий. – Святое место, хе-хе! Мы, можно сказать, возмужали и созрели на кухне. Кухня – это культурная ниша, не так ли? Сколько было выпито и спето! Сколько было срасти в спорах! Суета сует, однако... Кагорцу испьем, Сократыч?

– Лучше водки, чистой и крепкой.

– Дело говоришь, Сократыч, дело. Машенька, я плесну тебе пару капель кагорцу?

– Водки, Кир-аркадич, водки. Терпеть не могу это слащавое пойло, ты же знаешь. У меня от него сердцебиение.

– Вот племя младое, хе-хе, да резвое. Непуганое, опять же. Но они умнее нас, Валентин: атеистов все меньше и меньше. Спаси и сохрани!

Мефодий ловко махнул чарку в мохнатый рот, опушенный бородкой модного силуэта. Чистота линий монашеской бороды отдавала пижонством. Машенька тоже автоматически перекрестилась и красиво выцедила пузатенькую стопку, не поморщившись. Валентин Сократыч, коротко выдохнув в сторону, принял дозу в два глотка и замахал руками.

– Капусткой приткни, – руководил гостеприимный Мефодий.

Кухня была светлой и просторной. Валентину Сократовичу, грешным делом, всегда казалось, что здесь и располагается духовный центр славной трехкомнатной квартиры отца Кирилла. В аккуратно выдолбленной нише помещался

огромный импортный холодильник. На столике возле светлой газовой плиты стояла вместительная ваза, наполненная отборно крупным итальянским виноградом. «Да, недешево обходится любовь попам», – подумал Валентин Сократович.

– Ея же и монахи приемлют, – в сотый раз за последние десять лет произнес смешную фразу Ярилин, указывая на бутылку водки. Машенька звонко засмеялась и пояснила причину смеха:

– Кир-аркадич такой же монах, как я – папа римский.

– Маша, лебедь, не кощунствуй, не люблю, – мурлыкал Мефодий, обводя роскошные стати возлюбленной пылкими очами.

Маша села между Кириллом и Валентином и мгновенно превратилась в центр притяжения и обожания. После третьей рюмки («Бог любит троицу»), выпитой за любовь («за возлюбленных»), Мефодий стал заявлять на Машеньку исключительные, собственно, абсолютно все права, и Валентин, чтобы его успокоить и отрезать себе путь к возможному флирту, стал рассказывать о своей любви к Татьяне. Когда повествование дошло до трагической измены, Машенька почему-то расхохоталась и заявила:

– Пойду, сниму бюстгальтер. Тесновато что-то душе.

Мефодий, разумеется, увязался за нею.

– Не приставай ко мне, профессор, – слишком громко для того, чтобы это звучало интимно, капризничала Машенька за дверью с витражами. Это говорилось явно не для Мефо-

дия. В чужом пиру похмелье стало уже надоедать Валентину Сократовичу, и он стал подумывать об исчезновении по-английски. Или по-русски, как придется. Пора было смываться.

Но тут в кухню вошла Маша и, воодрузив ладную ступню на стул, объявила в сей гордой позе:

– Хочу водки!

Водки в доме у монаха не оказалось. «Придется кому-то сбежать», – интригуяще вздохнула Маша и зачем-то оголила колено. «Не гостю же бежать, верно, Кирюша?»

– Шлюха! – взревел богослов и священник.

– Все, с меня хватит! – Валентин Сократович решил пресечь мелодраму в самом зародыше. – Я ухожу. Разбирайтесь сами.

– Я ухожу с Валентином, – заявила обиженная дама, и Валентину стало неловко смотреть падре в глаза. Он поневоле становился соучастником какого-то нечистого мероприятия.

– Кирилл, я ухожу один. Не ввязывайте меня в ваши разборки. Прошу вас. Мне и так тошно.

– Не мешало бы тебе извиниться перед гостем и передо мной, – пухлые губы искривлены и поджаты, но выдают не обиду, а настойчивость.

– Валентин, извини. Прости меня, ангел мой, Мария...

– Ладно. Прощен. Мы сейчас спустимся в магазин за водкой. Одна нога здесь другая там, – поставила точку Маша и подставила плечи под плащ, в который благоговейно укутал

ее Мефодий. Едва они оказались в лифте, Мария, ни слова не говоря, сомкнула руки на шее у Ярилина.

– Валентин, не приставай ко мне, – напирая на него грудью стонала она. Бюстгальтера на ней, как и предполагал Валентин, не оказалось; грудь у нее, как он и воображал, оказалась мягко-упругой. А вот глаза – и тут он ошибался в своих абстрактных прогнозах – очень даже реагировали на прикосновение к телу: они живо пульсировали и замирали, откликаясь на рваный ритм его жадно ищущей ладони. Ее тело было честным.

Они зашли в ярко освещенный и самый людный отдел магазина, купили водки «Новый век» (не одну, а две бутылки почему-то захотелось Валентину Сократовичу) и выскочили в темень. Машеньке захотелось покурить. Они пробрались за магазин, нашли какие-то дощатые ящики, отбросили пакет с водкой и принялись, как безумные, целоваться.

– Не приставай ко мне, – млела в коротких паузах мадонна. – Нет, нет, – извивалась она, в то время как Валентин Сократович терзал ее крепкую и одновременно чуткую грудь. – Еще, еще... «Какой-то удивительный сладострастный орган, а я – паскудный виртуоз Бах, и мелодия в башке плывет неземная. Понимаю тебя, святой отец», – проскальзывали мысли в голове писателя, фиксируя мучительную поэзию такого рода, с которой ни с кем невозможно поделиться. Мысли честно работали с ощущением, которое коряво отражалось в словах бледным смысловым итогом: «С этой

шлюхой я испытываю самое чистое наслаждение. Это компрометирует меня, мне стыдно даже перед собой. Точнее, потом будет стыдно. Падение? Грязь? Такое наслаждение не может быть падением. Это прорыв к сути. И мне приятно, что у меня такая суть, хотя я никогда и никому этого не скажу. Даже под пыткой.» И почему-то странный вывод: «Нет, род человеческий должен издохнуть. Это будет справедливо. Мы не выживем. Мы не можем становиться лучше. Нельзя *этого* лишать человека, но нельзя ему *этого позволять*. Это и нравственность несовместимы. Какое счастье, однако, что я это все понимаю. И что меня никто не может слышать. Где-то я вру. И сейчас мне абсолютно наплевать, вру ли я, вправе ли. *Это* стоит истины».

Едва он забрался к ней в трусы, грубо задрав просторную юбку (они дошли до состояния, когда грубость становилась формой нежности), и пальцами ощутил горячую влагу, как с Марией стало твориться что-то невообразимое. У Валентина стало появляться ощущение, что до этого он толком не знал женщин.

– Нет, нет, я тебе не дам, – шептала она, рывками прижимаясь к нему. – Я люблю его... Ты ведь не расскажешь ему...

Потом она точными и быстрыми движениями расстегнула ему нужное место на джинсах, плотно схватила прохладной ладонью трепетавший ствол желания и очень трезвым голосом внятно произнесла:

– Ты ведь не расскажешь своему другу, как ты приставал

ко мне? Ведь нет же? Нет? Иначе у тебя не будет друга...

После этого она заставила его опрокинуться на ящики и прильнула своими упругими губами к его истекавшей и тосковавшей в бездействии плоти. Она проворно и сладко проделывала именно то, о чем грезилось сошедшему с ума Ярилину. Ему казалось, что он на ней, а они на небе. Под ее свирепое урчание он волшебным образом опустошился и стал таять.

– Тише, тише, – зажимала ему рот Машенька, сдавливая его вопли. – Тише, милый.

На мгновение ему показалось, что более родного существа он не встречал на Земле. «Как обманчив интим!» Он понял и почувствовал, почему у Мефодия не было сил отказаться от этой девки.

– Ну, ты и тигр, – говорила Машенька, приводя юбку в порядок.

– А ты – крокодил, – мешал ей Ярилин, вяло вождедая.

– Разве я кусаюсь? – пристально смотрела лиса в трезвеющие глаза человека, которого видела сегодня первый раз в жизни.

– С хвоста ты, может, и сиамская тигрица. Я еще не знаю...

– То-то же. О нашем уговоре помнишь?

Когда они вернулись, Мефодий допивал уже церковный кагор.

– Сучка, рыжая тварь, – набросился он на Машеньку, хотя волосы у нее были блестяще-темные. Он стоял в дурацкой

позе, сжав кулаки и вращал глазами, словно Карабас-Барабас. «Он не заслужил такого унижения», – бесстрастно выполняло свою работу сознание Валентина Сократовича, и иглы совести впились ему в межреберное пространство прямо напротив сердца.

– Кирюша, что с тобой, зайчик? – скороговоркой сиделки заворковала Машенька, взяв его бурое лицо в ладони (Ярилин словно на себе ощутил их прохладное прикосновение).

– Все в порядке, успокойся, мы здесь...

– Валентин, я убью тебя. Пошел вон! – театрально и нелепо рычал Мефодий. – Вы все суки. Я вас ненавижу. – В его напыщенных словах была неподдельная боль.

– Кирюша, я с тобой, я здесь, все хорошо...

– Кирилл, ты меня оскорбляешь, завтра тебе будет стыдно, – неожиданно для себя с придыханием и чувством собственного достоинства произнес Валентин Сократович фразу, за которую назавтра ему было нестерпимо стыдно. И не только назавтра. Лисьи глаза задержались на его лице, Мефодий обмяк, подчиняясь магии слов. Мы не раскроем важный секрет, останется ли наш герой (хочется сказать: наш брат писатель!) в живых, но ему будет стыдно за свою невольную иезуитскую импровизацию до самой смерти. Знай об этом, читатель. Ему казалось, что он побывал в шкуре предателя.

Через полчаса компания помирилась под водочку, списав инцидент на глупую ревность пылкого Мефодия. Он был

счастлив и лез целовать свою богиню в самый низ живота, стаскивая с нее юбку и целомудренно забыв о существовании Валентина Сократовича. «Солнце мое», – шептали уста окаянного слуги церкви. Мария даже для виду не сопротивлялась. Она направляла поцелуи обезумевшего Мефодия и с поволокой, не отрываясь, смотрела в глаза Валентина. За эту неподдельную поволоку Ярилин готов был растерзать развращенную тварь, а она приглашала его увидеть, как она разводит бедра, открывая доступ языку святого отца туда, где чудно пульсировала горячая влага...

Клинышек волос, декоративно обрамлявший ее лоно, был рыжим.

Последующие два дня Ярилин опять продолжал тщательно скрываться от разбушевавшегося солнца. Но скрываться от себя было куда сложнее. Мир щедро залит был светоносными лучами, которые, казалось, проникали во все (почти во все) уголки темноватой души растерявшегося человековеда.

Судя по всему, следовало идти к Спартаку и повиниться за то, что неверно истолковал поступок друга, переспавшего с его, Валентина, женщиной Татьяной Жевагиной.

Приучив себя к мысли, что в этой бредятине есть зерно истины или хотя бы крупица здравого смысла, Ярилин собрался с духом и вознамерился посетить Евдокимыча. Можно, конечно, было посетить и Мефодия, благо и перед ним было в чем каяться. Валентину Сократовичу довелось побывать в шкуре одного и другого. И неизвестно, что оказалось паскуднее.

Путь к Астрогову оказался длиннее обычного, возможно, из-за непредвиденных остановок: Ярилин другими глазами смотрел на пробуждающийся мир. «Я не знаю, что такое истина, – думал писатель. – Но я знаю, что истина складывается из правды о человеке. А правда о человеке – это отношения мои с Жевагиной, Машкой, Астроговым...» Ему вспомнились слова Спартака, которые прежде его раздражали и которые он воспринимал теперь в новом свете: «Меня не переста-

ют изумлять две вещи: святость женской миссии по сохранению семейного очага – и их параллельная моральная всеядность, очаровательная беспринципность по отношению к чужим мужьям – и требование беспрекословной верности от мужа собственного. Когда они последовательны – либо очаг, либо чужие мужья – то это и не женщины вовсе, так, условные праведницы или развратницы. Литература. Таких в природе не бывает... Говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог; если это так, то Господь всемогущий явно не знает, чего он хочет. И рыбку съесть, и, как бы, мужья... А если баб сотворили из нашего ребра и нас при этом не спросили, то чего же хочешь ты, Ярилин? Меня от самого себя тошнит, а тут еще бабы из ребра Адамова...»

На квартире Спартака его ждала забавная жанровая сценка.

Пить одному, очевидно, было уже не вмоготу, и Евдокимыч затащил в квартиру какого-то бомжа, «очень приличного человека», как уверял потом Ярилина. Неизвестно отчего, Астрогов решил, что перед ним «клошар», друг Жан-Вальжана. На Тима симпатии хозяина не произвели никакого впечатления, а клошар произвел впечатление резко отрицательное. В знак протеста Тим забился под диван, и под его обиженный рык происходил весь диалог, свидетелем которого, отчасти, стал Ярилин. Роскошь человеческого общения началась со скупого вопроса под солидное бульканье дешевого плодово-ягодного, якобы, «чернила». Перекрывая рык

и Бульк, Спартак первый, по праву хозяина, выдал из себя нечто располагающее к беседе.

– Кто?

– Падель.

– Падель?

– Так точно: Падель.

– Ну, здравствуй, Падель. Коль не шутишь.

– Никак нет, не шучу.

– Да уж вижу, что не шутишь. Не склонен ведь, так?

– Так точно. Где нам, гы-гы.

– Ну что, Падель, врежем, а?

– А разве у нас есть выбор?

– Ответ, достойный Канта. Знаешь такого?

– Васька, что ль?

– Никак нет. Эмка.

– Погоди. Я знаю этого кривого пидараса. Он живет... ну, магазин «Фрукты-овощи»...

– Нет, он жил в Кенигсберге.

– Космополит?

– Так точно. Интересовался небом. Поехали, Падель.

Этим бы, судя по всему, диалог и кончился. Дальше Паделю осталось бы обчистить квартиру и мирно удалиться во свояси. Но сделать это было непросто: Падель в его состоянии вполне мог променять добычу на сон. Он то ли воровал, то ли спал на ходу. Словом, пребывал в маргинальном состоянии.

Явление Ярилина внесло коррективы в сценарий банальной попойки людей дна. Падель был удален под белы руки с траурной каймой под ногтями. Спартак безжизненно раскинулся на диване, а Валентина Сократовича продолжала мучить безотчетная тоска. Он гладил Тима и думал, что и он, Ярилин, виноват в том, что Спартак так безобразно опустился. Ладно бы эта сучка Жевагина со своими скудоумными проделками, но ведь и он, Валентин, добивал своего упавшего друга. Кто виноват? Что делать? Битый небитого везет – это еще понятно. Но кто битый, а кто – нет?

Вот в чем вопрос.

Дальше нам надо бы изобразить муки Астрогова, по крохам собиравшего волю и сознание в чаду тяжелого похмелья. Но это не поддается никакому описанию, вживаться в этот ад – самоубийственно, поэтому мы, с одной стороны, щадя себя, и, с другой стороны, из гуманных соображений по отношению к читателю, сразу перейдем к иной интересующей нас сцене из жизни.

– Все работаете, Спартак Евдокимович?

– Сказать, что работаю – неловко как-то; сказать не работаю – обидно. Для себя что-то ковыряю... Проходите, коллеги.

Так встречал своих гостей Астрогов на седьмой день после того, как его покинул Ярилин. Друзей примирила логика жизни и неотвратимость познания. Собственно, мужской взгляд на мир. Мужская дружба даже окрепла, возмущенная

женской неверностью.

Нынешними гостями доцента Астрогова были Герман Миломедов, его аспирант и последователь, сопровождаемый своей очаровательной спутницей, звали которую, как вскоре довелось услышать Спартаку Евдокимовичу, Антонида Либбо.

– Редкая фамилия, – рокотал Астрогов, оглядывая ее молодой и гибкий стан, длинные прямые волосы и необычный, миндалевидный разрез глаз, делающий девушку незабываемой (разрез этот Астрогов определил как «беличий»; читателю же, знакомому, в отличие от Астрогова, с Машенькой, разрез мог показаться и лисьим; кто-то нашел бы глаза Антонины просто списанными с Джиоконды, а кто-то уподобил бы их звездам; как говорится, о вкусах не спорят). – Прямо скажем: роскошная девушка, с перцем и изюмом.

– Спасибо, – улыбнулась Антонида, не отходя от Германа ни на шаг.

– Что вы, это не комплимент, – тут же парировал Астрогов, которого читатель, кажется, еще ни разу не видел трезвым. Сейчас он был трезв и все равно мил. Тем, кто мало знал Спартака Евдокимовича, могло бы показаться, что он слегка рисуется. – Я вообще не люблю комплимент как жанр общения.

Он стоял посреди комнаты, которая усилиями друзей была приведена в идеальный порядок. После пьянок Астрогов презирал себя, шел в баню, очищал тело и душу, тщатель-

но вылизывал квартиру (чем доставлял Тиму несказанное удовольствие) – чтобы неделю спустя, раздраженный накопившимся презрением к этому лучшему из миров, принять с друзьями очищающую поначалу дозу алкоголя, по мере невоздержанного потребления переходящую количеством в хорошо знакомое и столь же ненавистное качество: грязь души. Мучительный круг человека философ старался разрывать спиралью в небо, но всегда оказывался в клоаке. Немногочисленные друзья, с которыми Астрогов вкушал прелесть общения (те же Ярилин и Миломедов), дослушав исповедь, покидали его, ввиду явной невменяемости собеседника. Далее оздоровительные посиделки неизменно превращались в изматывающие пьянки, где Евдокимычу ассистировали уже особы сомнительные, всегда готовые разделить с ним стакан и ложе; и баня вновь приводила его в чувство. «Свежая баня, чистая речка, восход солнца, ночное небо, да еще любимые бабы – вот изысканные наслаждения миллионеров. Стоит ли после этого тратить жизнь на то, чтобы в результате ты мог купить своей смазливенькой подружке фальшивые, или даже, если повезет, не фальшивые бриллианты? Это не широкие жесты, это узкие души», – говаривал протрезвевший Спартак.

Когда Астрогов не пил, он работал: писал или преподавал.

Итак, трезвый Астрогов стоял посреди прибранной комнаты, свободно жестикулируя в такт мысли, а молодежь с благоговением внимала его отточенным формулировкам,

которыми он, импровизируя, забавлял себя и других. Он не говорил, а рождал мысли. Его могучий и роковой дар снискал ему легендарную репутацию, а пьянство только укрепило ее в глазах людей понимающих.

– Комплимент – это умышленное и несоразмерное преувеличение заслуг и достоинств, доставляющее злорадное удовольствие дарителю комплимента и возбуждающее тщеславие принимающего. Хотя должен признаться, что на женщин можно воздействовать только комплиментами.

Улыбка Спартака Евдокимовича была простой и открытой. Его правда как-то никого не унижала и не обижала.

Далее началась церемония представления Антонида Тиму, который не без удовольствия позволял погладить себя и норовил лизнуть Антониду в лицо, чтобы не остаться в долгу.

– Да, Спартак Евдокимович, когда вы в форме, вам лучше не попадаться на язык. – Все жесты и интонации Германа были поставленными и несколько театральными.

– Гера, не будем унижать друг друга комплиментами, – рокотал мэтр, но Герман знал, как падох философ на комплименты. Собственно, подчеркнутое почтение и поклонение и послужили Герману пропуском в эту обитель и юдоль. Тщеславие, как и водка, были «маленькими слабостями большого человека». Спартак терпеть не мог, когда его в них уличали, и получал наслаждение, отыскивая их в других. Отчего так противоречиво устроен человек? Герман не торопился

задавать этот вопрос учителю.

– И кому же нынче от вас досталось? – вопрошал Герман, крутясь вокруг рабочего стола, словно кот вокруг горячей каши, и щурясь на исписанные листы. Работа, как всегда, делалась единым махом и на одном дыхании, «запоём», по выражению Астрогова, который свои запои, однако, называл не иначе, как «излишествами и некоторым алкогольным экстремизмом».

– Почему «нынче», Герман? Может быть, ты Тургенев Щигровского уезда, а рядом с тобой тургеневская девушка?

– Я имел в виду сегодня, – учтиво поправился ученик.

– А почему непременно досталось? – честно недоумевала Антонина, а потом непоследовательно добавила:

– Я тургеневская девушка в том смысле, что люблю подумать, по-своему пошевелить мозгами. Но мысли у меня невысокие. Хотя честные. Как мне кажется. Сегодня честные – значит низкие. Нет?

– Изюм и рахат-лукум, – балагурил Спартак Евдокимович, явно довольный и удачно начатым днем, и приходом гостей и лепетом этого бельчонка. – Честность – само по себе понятие высокое. От меня достается прохиндеям, алкоголикам и лицемерам. Вообще-то у философа должен быть злой склад ума. Вот набросал жальщее эссе: «Хайдеггер, или мышление через жопу».

– Как интересно, – делано вскинул глаза и принял стойку Герман. – Как любопытно! Вот бы почитать! – стонал он,

делая вид, что заходится интеллектуальной слюной, словно пес, которому не спешат подносить сахарную косточку, запах которой, однако, дурманит и влечет.

– Да тут каракулями сделано, от руки.

– Из ваших рук, Спартак Евдокимович, и хулу, и похвалу, и каракули.

– И пахлаву, – добавил Астрогов, корректируя карикатурно завышенный пафос. Когда он был трезв, дешевые комплименты его действительно коробили.

– А почему через жопу? – мягко уточнила Антонида.

– Дело в том, что я ужасно старомоден и традиционен, – с удовольствием реагировал Спартак. – Я до сих пор считаю, что мыслить следует головой, а потому решительно не согласен с г. Хайдеггером, переместившим центр интеллектуальной деятельности значительно ниже. Кстати, в сексуальные партнеры предпочитаю избирать лиц противоположного пола, то бишь женщин. И не гнушаюсь красавицами.

– А можно почитать? Прямо здесь. Хотя бы взглянуть... – проявила неумеренный интерес к исписанным страницам девица Либо. – Тут у вас еще какие-то «Лишние люди»...

– Тебя я оставлю, и ты можешь наслаждаться на этом диване хоть неделю. А вот Герману придется добыть огненную воду, чтобы его допустили в наше избранное общество. Аква виты, Герман. Немедленно.

– Уже бегу, Спартак Евдокимович. Правда, я сегодня не в форме.

– Что-нибудь случилось?

– Так, пустяки, солнечный удар.

– С солнцем шутки плохи.

– Ничего. Я уже почти в порядке. А это эссе войдет в вашу «Онтологию разума»?

– А-ю-ю-у, а-ю-ю-у-у, – ёрнически затянул Астрогов. – Не ложись ты на краю... Кот Баюн. Либо водка, либо разум. Верно, Либо Антонида? Сегодня мы решили воздать должное напитку тех, кто слишком хорошо постиг разум.

– Вы уже третий год обещаете дать мне почитать «Онтологию», – капризно корчил обиду Герман по-домашнему, как свой, как вхожий.

– А-ю-ю-у-у... Так ведь обещанного три года и ждут, – резковато закрыл тему маэстро. – Вот денежка на водочку. «Кристалл», разумеется. Укрепляет душу, просветляет разум. Если перебрать, все диалектически меняется местами: затмение разума провоцирует ослабление души. Начнем за здравие, а там посмотрим.

Спартак держался молодцом, и исповеди в этот вечер молодые люди так и не дождались. Он искрился, импровизировал, и за столом царил негасимый восторг. Ясно было, что музой Астрогова была Антонида Либо. Это было ясно всем, и никто особо не пытался изменить статус кво.

Выпито было уже изрядно, и диалектика брала свое, а именно: у хозяина все чаще случались провалы и затмения рассудка. В конце концов, Спартак Евдокимович оказался в

том беспомощном состоянии, о котором мы знаем из притчи о Хаме. Учителя жизни можно было брать голыми руками, и тогда Герман, которого маэстро изволил называть не иначе, как Герка, повелительно кивнул в сторону Спартака своей подруге Тоньке (уменьшительно-ласкательные имена – это была стилистика «употребившего» мыслителя, выдававшая его особое расположение):

– Давай...

– Даю, даю... – не сопротивлялась Либо и тут же принялась потрошить Астрогина. – Ну, дайте же, наконец, почитать ваш «Разум». Зажали. Нескромно получается, Спартак Евдокимович.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.